

Наряду с сочинениями сентименталистов второй половины XVIII в. Байрон воспринял также и классицистический рационализм как эпистолярного, так и мемуарного искусства этого периода. Переписка лорда Честерфилда и Горейса Уолпола, мемуары Мери Монтегю и Эдварда Гиббона, Юма и Гиффорда, воспоминания Босуэлла о докторе Джонсоне, дневники и письма Фанни Берни — все эти и другие, менее популярные сочинения такого рода были Байрону хорошо известны. Они оказали длительное влияние на образ его мыслей и их стилистическое воплощение. Это влияние уживалось с романтическим восстанием против нормативных эстетических ограничений.

Как персонаж «Журналов и писем», Байрон воплощает те же взаимно противоречивые тенденции. Повторяю, прогиворечив не только внутренний облик поэта, но и метод его самоизображения. Байрон записывает в своем журнале, что не может его перечитывать — «и один Бог знает, каких только в нем нет противоречий. Если я искренен с самим собой (а я боюсь, что никому мы не лжем так много, как самим себе), каждая страница должна бы опровергать, ниспровергать и совершенно уничтожать свою предшественницу»¹².

В этом признании интересно и понимание собственной непоследовательности, и сомнение в возможности правдивого самообнаружения. Восхищавший Байрона рационалист и классицист Сэмюэл Джонсон не сомневался в том, что нет ничего проще, чем говорить правду. Он выговаривал своей ученице г-же Пиоцци за то, что она, увлекаясь рассказом, отклонялась от строгой верности фактам. Байрон ясно понимал, что быть правдивым — искусство далеко не простое, что оно подразумевает другое редчайшее искусство — самопознание — и, следовательно, может подвести в самом, казалось бы, легком случае — при разговоре с собой.

Подводило оно иной раз и самого поэта. Он был слишком горд и прямодушен, чтобы искажать факты, но в тоне, в окраске событий, в пристрастии к позе пресыщенного и утратившего все иллюзии наблюдателя житейской суеты было то едва приметное отклонение от абсолютной искренности, на возможности и необходимости которой так настаивал доктор Джонсон.

В каждом отдельном письме, в той или другой записи журнала могла быть неполнота правды, отражающая смену мгновенных настроений и текучесть чувств, но все вместе эти разрозненные, друг на друга непохожие заметки составляют психологический образ неопровержимой истинности, глубины и полноты.

2

Читателя привлекает прежде всего ощущение интеллектуальной мощи героя «Журналов и писем». Его ум не столько оригинальный и созидательный, сколько восприимчивый и критический. Он не вводит в обиход новых идей, но наиболее важные идеи века находят в его мысли своеобразное и смелое преломление. Байрон вызывает на суд разума установленные понятия о вещах и их соотношениях: новейшие научные теории, политико-экономические доктрины, перипетии войны и судьбы народов, тактика революционной и национально-освободительной борьбы, философские учения, литературная полемика, проблемы религии, этики и эстетики, психологические наблюдения и самонаблюдения, описание отечественных и чужеземных обычаев и нравов, начисто лишенные какой бы то ни было национальной предвзятости, — таков интеллектуальный диапазон «Журналов и писем».

Разумеется, ни те ни другие не претендуют на объективное повествование, на всеобщую хронику времени. Байрон — не Пимен-летописец.

¹² Запись 6 декабря 1813. — *Letters and Journals*, v. II, p. 366. Ср.: «Я совершенно уверен, что ничего не понимаю в своем характере». (Письмо к Мисс Милбэнк, 22 октября 1814. — *Ibid.*, v. III, p. 159.)